

"Ворованный воздух" Главы из ненаписанной книги

На Пушкинской дождь



А на Пушкинской дождь. Дождь. После концерта Юрского. Уже в фойе слышно, как он шумит. Ощущение свежего, почти летнего ливня, которого заждались.

Шорох, шум, плеск воды, сбегавшей с гранитных цоколей, запаха морской пыли, одуревшей от ливня листвы, был уже тут, в театре.

И как все торопливо одевались, чтоб увидеть, чтоб уже поскорее... Туда, в грозовой запах озона, на улицу! В молнию, которая криво пролетала над Пушкинской, зажигала мокрые крыши, к бульвару, где уже горела от ливня листва и пушилось сизое море...

Дождь, смывающий золотую темную пыль с деревьев и лиц прохожих. (Легкие трещинки пошли по балконам. Там жадно пьют воду вечерние фиолетовые цветы.)

Мы вышли. Дождь припустил сильнее. В сумерках вечерней воды зажглись фонари... Вода моет изгибающиеся уже полвека тела деревьев. Тела животных. Платаны на Пушкинской. Мокрые антилопы с доверчивыми шеями. Свист проносщегося троллейбуса, тлеющие под дождем провода. Падение грома, где-то там за углом, в ближайшем дворе. Блестит мостовая, реет, как нимб над городом, рекламная пыль, проносятся, как жуки, длинные черные автомобили, и снова дождь моет плиты на Пушкинской, а счастья нет...

Моег дождь улыбающиеся, почти безумные лица кариагид, блаженные рожи античных богинь, девственниц, дурочек... Счастья нет. Нет счастья... Где оно? Я не знаю. Пустынный сквер великолепен, набух деревом скамеек, железом оград. Дождевым порохом, кисло-сладкой мочой несет из дворового туалета, ржавым металлом и погибшей краской пахнут ворота, в старых водопроводных трубах шумит вода.

В парадной на улице Пастера

В парадной на улице Пастера во втором пролете тихо, тепло. Уютно сопит электрическая лампочка под цветным куполом, затканном бессмертной паутиной. Изящный витражик узкого средневекового окна. Терпеливый мрамор, густо исписанный за последние полтора века. Последние чистые уголки, не загаженные еще прыщавой шпаной и пэтэушниками, не заплыванные кровавыми окурками из нечистых ртов. Не подпорченные ядовитой кошачьей мочой и человечесьей блевотинкой.



Тут можно отдохнуть, переждать дождь, непогоду, выкурить заветную сигаретку, почитать книжку, поцеловаться... (Я открыл этот уголок лет семнадцать назад. Давненько же тут не был...)

На табличках — старые благородные фамилии: Михельсон, Дворецкий, Канцлер, Кутузов, Рубинштейн. Был даже Хаим Смоленский, адвокат. Старые русские интеллигенты (из евреев) обитали тут...

Где-то здесь жил известный доктор Левинзон. Исключительный педиатр и диагност. Зубной врач Марменштейн (мосты, коронки, протезы). Д-р Зоя Альфонсовна Шейн (морфинизм, заикание, пьянство, половые расстройства, ишиас).

Но это было давно. Теперь тут тихо, паутина и не то. Жильцы жэка № 617/14, а не гинекологи, ювелиры и протезисты с частной зубной практикой (на дому).

Зато тут можно высунуться из разбитого слухового окошка, уронить на голову дворника старое ведро, плюнуть в сырую одесскую ночь...



Я показываю

Пришел как-то к Мишелю.

— Н-ну что? Как говорят венерологи, показывайте?..

Я безвольно отдал ему свою маленькую тетрадку, где косым неверным почерком видна сосредоточенная погоня за поступками (и запахом) одного моего знакомого. Потом буквы выравниваются, виден чистый почерк голодной гончей, влажным носом напавшей на след...

Несколько судорожных метаний, заминок, клякс, сомнений... Какой-то дефективный рисунок, неуверенная вязь, зачеркивания, чернильный разврат...

Несколько пробных (и ложных) бросков в сторону, маленькая паника в уголке листа — и след взят! Идет железная диагональная клинопись, аккуратно огибающая шизофренические видения, рожицы, женские ягодицы, чертиков, томные профили незнакомцев из девятнадцатого века, идет текст, которого не может разобрать никто (и не надо). Там какой-то экспрессив, абракадабра, изощренный мат даровитого художника, жалобы, любовный бред, пейзажи... Какая-то смесь — догадки, фразы, прозрения... Идет то, чему хорошо бы стать чистым золотом прелестной прозы (без ложной скромности говоря).



— Пренебрежем текстиком, посмотрим рисунки. Л-любопытно... — сказал Мишель. — Ну-ка, ну-ка... Забавно. Сознательное подсознание, продуманный бред, да? Рисовальная неврастения. Мазохизм. Нет? Судорожная разрядка психастеника. Небрежная точность. Проницательность сумасшедшего. Что-то в этом роде. Я прав? Впрочем, я сам такой. Но это любопытно... На удивление. Я не ожидал. После этого мне уже не стыдно показывать свои. А? Нет? Ну ладно. Посмотрим дальше. Ты смотри, здесь что-то сексуальное... Несомненно. Что-то фаллическое.

Я даю ему высказаться, потом мы молча смотрим. Мишель испуленно



курит, сопит, нижняя губка его влажнеет. Он толкает меня коленкой, изучает этот рисовальный мазохизм, что-то находит там. Наконец я тоже начинаю видеть... Мы смотрим.

...Задумчивая Лорелея, освежеванная туша женской плоти, скорбное лицо Бонапарта (император почему-то в очках). Хрущик в Пикушах, пьющий чай на скамеечке. Недорисованная лошадь. Безрукий младенец, дурачок, глядящий в поле, снова заштрихованный Хрущик под женским бедром, заплаканный Пушкин, Викуша с цыганской серьгой в ушке, чей-то изуродованный профиль, надменный офицерик в эполетах и при шпаге. Якобы гипсовый якобы слепок якобы старичка... Дальше безумная страница с ихтиозавром, несущим в детских ручках цветок, раскоряченная задница, спряжение английских глаголов "to be" и "to have", Дионисий с крестом, горшочек дымящегося дерьма, девочка на качелях, Шурик, ждущий первой звезды...

...А там уже идет Гирш под зонтиком, в слепых очках, в пиджачке джерси и стоптанных туфлях на босу ногу. Дождик в косую линейку из облачка, Мишель с эльгрековским ликом, мой однозубый друг Павел с истерзанным взглядом, диковатый автопортрет (старик Кюхельбекер?). Потом снова женская плоть с могучим животом и дремучим пахом, Токман, висящий над пропастью, чуть ли не во ржи, пухлый младенец с безбровыми глазками Матусевича, Юрочка Новиков задумчиво мочится на цветок... Затем идет пантагрюэлевская задница Гуревича, неизвестный, дефективно ковыряющий в носу (наверно, это я), знакомый профилик лицеиста, неразборчивая скоропись, домик в поле, свеча на столе, завитки бакенбард... И дуэльный пистолетик со слабым дымком из дула. "А в пистолете опустелом остался дым его забав..."

— Занятно. Правда?

— Чесотка века. И в этом все дело. Ты расчесал мои эрогенные зоны. Теперь как честный человек ты просто обязан показать остальное.

— Неинтересно...

— Ну не мучай меня, покажи дальше...

И я показываю.

На Староконном

...На Староконном было людно и рыбно. В сверкающих аквариумах лениво плавали пожилые китайские вуалехвосты в густой кровавой чешуе, бежали в чистых, как слеза, водах юркие сперматозоиды мелких живородящих гупий. В цветных стекляшках и диковинных пуговицах, в переплетах бывших изданий "Анакреон" и "Нива" отражался веселый одесский мир. Старички в узких пасхальных брючках — старых, заглаженных до блеска штанах в полосу (а-ля Макс Линдер) — продавали и никак не могли продать тесемки от цейссовских пенсне, авторучки без колпачков, открытки с видами Конотопа и Праги образца 1908 года, лакированные заготовки от бывших ботинок с красными пыльными стельками, где когда-то лежал забытый бабушкой бинокль из бархатной ложи одесского городского театра с каплями свечного нагара на плечах... Приходил сюда знаменитый Гуревич, ведя за руку задумчивого сына. На полу и асфальте известный художник торговал картинами и багдадским сыром. Высокий, похожий на Вана Клиберна Володя Стрельников не очень успешно продавал старые книги, писал акварели. Приходил увенчанный командорскими усами, с тремя попугаями на плечах, неунывающий Люсьен Дульфан. Появлялся Валик Хрущ — энергичный, бодрый, в серой элегантной шляпке, интересовался стамесочками, замочками, птичками, рыбками, старыми фолиантами, ценами на нефть, старыми автопокрышками, каучуком, хорошей оптикой, освежителями краски. Сияло одесское солнце, жизнь была прекрасна и впереди...

...Потом все изменилось. Всюду была какая-то неясность. Денег не платили, аплодисментов не было слышно, лучшие книги исчезали с прилавков, зелень продавали по высокой цене, фильмы снимались по чужим сценариям, пахло нефтью...

Дул ровный, как веревка, ветер. Шел 1980 год. Дул, раздувая жабры, теплый ветер с окраин. Таяло в небе, на бульваре звенели в ведре дворничихи сосульки. За окном, освещенное жабрами рыб, мерцало большое тягелое море. Над зданием оперетты — мокрый кривой месяц.



Был март. Кричали вороны. Полной грудью дышал пустырь, шевелился ночной чернозем, стадион еще не был построен. Кругом были ночь и туман, заваленная сырыми досками пустошь, заочелоченная на зиму луна. Начинаясь какая-то дикая весна, с ранним цветением и морозами, по ночам снились кошмары...

Где-то далеко Хрущ задышался от столичного смога, на магнитофонные ленты наматывалась жизнь, а счастья все не было... У Вики пили чай, с крепкой, но не той заваркой, читали стихи, смотрели на икебану за окном, вспоминали прошедшее лето, играли в слова и молились. Билли преданно смотрел в глаза, на морде у него моталась слюна. Порто-франко медленно опускался на древнее дно...



Художник и птицы

— Конечно, Фима, я бы мог и из рук католического ребе получить отпущение грехов. Но я пока подожду. Мне не к спеху.

В пыльном бархатном берете, широкополый и широколапый Дюльсэр щедро разбрасывает на холсты своих перистых ершистых пернатых — красноклювых, взъерошенных, ало-зеленых попугаев, — и они истерически кричат, и бьют кривыми клювами воздух, и кувыркаются на головах и шляпах друзей и прохожих, свивают там свои роскошные нечистые гнезда, причудливо галдят, гадят и сквернословят на иных языках, грассируя и картавя, поедают при этом все, что бросает им под ноги ветер и почтеннейшая публика... Часто в полете они разбиваются о стены, и на их разноцветных внутренностях гадают местные весталки...

Чистый запах моря и тумана

Между тем Хрущ, увлеченно строгая уже не первый год инкрустированный шкафчик для Мили, сгорбившись над изделием, слегка заикаясь, говорил:

— Г-глупость — это, конечно, д-дар Божий, но нельзя же, блядь, ею з-злоупотреблять! Извини, это я не о тебе. Это я про себя подумал. Чаю не хочешь?

Кто только ни приходил тогда в их общую с Викой квартиру на Новорыбной, 18! Кончалось одесское лето, влажная ночь, как антилопа, ходила по городу. Огромная спелая луна подымалась над Отрадой и горизонтом.

Из теплого моря, по-русалочки хохоча, выбегали купальщицы. Какой-то тип, стоя над обрывом, мочился под луной в Понт Эвксинский. Толпы озаренных придурков бродили по пляжу и прилегающим мостовым и окрестностям. Никто не спал в эту ночь, все было пропитано чистым запахом моря, рыбы, песка, соли и тумана...



Во дворе на Канатной, где жила тогда Маша Марусенко, уже совсем стемнело, зажглись звезды. Под открытым всему миру небом играли в шахматы. Толик Гланц, проигрывая партию Гарику Гордону, слегка опечалился. Но лица не терял и говорил меланхолически (теряя фигуру):

— Ну вот, ты взял у меня коня. Теперь я стал бесконечным...

Над Молдаванкой коптил старый, выдавший виды месяц...

Ветер слабый, до умеренного

...Жду тепла. О нем слабо напоминает не тающее под морозным солнцем Хаджибея, затвердевшее от ветра белье в наших старых итальянских двориках какого-нибудь бывшего палаццо, какого-то там Гонзаго, с мраморными пустыми колодцами, заросшими тишиной, эпохи Цезаря Борджиа или какого-нибудь там Бенвенуто Челлини... Античная мраморная отрыжка, золотая окрошка известняка, синие венозные отложения солей на бедрах и икрах немолодых кариатид...

* * *

Страшненький декабрь с полумертвым от стужи сизым алкогольным лунным ликом кончился. Еще зима, но в воздухе уже намеки... И старушки, которые еле живут в своих зимних окошках, показали свои старые рембрандтовские лица и кости в чепцах. Грея остеопорозные косточки на острие солнечного луча, задремали, задумались о смерти, о весеннем равноденствии, о равнодушии. О долгожителях, которые их переживут. О лете, которое переживет века...

* * *

А когда забегают по молдаванским улицам курчавые смуглые мейделе с влажными от весеннего пота и цветения шеями, и Мотя Нудель откроет оживленную торговлю в любимой лавке "Стеклотара" (напротив), — вый-

дет тогда на прогулочку, на свою королевскую охоту за крупными мелочами быта, смутив полную весеннюю лужу, осыпанный крикливыми попугаями, овеваемый фиолетовым пером на воображаемой шляпе, незабвенный художник.

— Послушайте, — скажет он, — почему я так люблю эту нашу первую библейскую травку на сараях, эти первые весенние кляксы на земле и в тетрадах? Я не знаю...

* * *

Сегодня старый Новый год — "а наер юр" по московскому календарю.

В эту пору городок провинциально затихает; кварталы Привоза, тихо плача, одеваются в талые сосульки, кубики асфальта посыпаны зимней крупной солью. Морозец и таянье тихо противоборствуют. В это время старый Новый годик, как бы поскользнувшись на ледяном ветру, делает в глубокой проруби дворового сортира долгожданное нами "бултых"...

— Ах ты, куколка моя дорогая, — скажет, разнежившись, дочка маме в какой-нибудь там Москве, — почему ты, куколка, сегодня такая закашлянная с утра? Надо куколке дать молочка...

Над Молдаванкой ночной ливень

...На балконе шумит дождь.

Там ночь. Древняя ночь, похеренная культурой. В тропических ливнях зреют папоротники. Мокрая тьма, в которой набирают влагу нездешние растения. Треск молний над дикой, но плодородной планетой.

Уснул дядя Моня, спит дворник Степан. Спит без сновидений. Дышит алкогольным смрадом, дергает во сне деревянной ногой... Уснул безумный Наум, спит тетя Геня, снится ей (почему-то) Испания, Израиль, дядя Моноус в чалме, слепой продавец примусных иголок, обливающийся потом, гнилой и сладкий Привоз, дочь, выходящая замуж за араба...

Спят жители и соседи, квартиросъемщики и жильцы... Уносится вприпрыжку ночным богомолем, хромающим кузнечиком чужого несчастья ночной гость по мокрым крышам и исчезает в крошечной тьме, в теплой одури дождя...

Шумит, шумит над Молдаванкой первозданный ливень... Я подставляю под дождик свою бедную сумасшедшую голову, остужаю ее — и тоже иду спать. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи...

Зима. Континент. Стихи

Вот и американская зима. И Шурик рядом.

Вспомнились почему-то старые стихи:

Брал зимний ветер город на ура,
и каждый кустик к дому жался.
Еврейский праздник продолжался
до самого тяжелого утра.

Но это было еще там, далеко, в России, в Совдепии. В Эдессе, в эдеме...
Нынче все не так. Все иначе. Хотя... почему иначе? Хотел бы я знать...

Наваливается ветер и возраст, снег и время. Арлекины заскучали, постарели. И носы у них повисли. Жабо осыпалось, потускнело. Вообще грустно...

Мишель уехал. Гириш тоже не звонит. Уже три дня...

Сидит ночь. Океан за окном затаился. Дышит протяжно и мощно под панцирем луны...

Океанские пляжи пустынные. Черепахи и крабы зарываются в песок, звезды лихорадит на ветру. Холодно по ночам в громадных освещенных подъездах, и свищет правремя в пустых провалах мироздания... Телефон молчит, остывает чай, дымит сигаретка, дремлет влага в коньячной таре...
"Пошевели хвостом, Акита, по трюму (!) разгони тепло". Идет вереница, почти арабская вязь Шуриных коротких стихов: *"В разгар зимы, среди обуз преобрази Георгия в Егора и позови Серена Кьеркегора в беседку муз"*.
Что-то в этом роде... Хотя я явно перевернул.

Я перевернул. Наверняка. Прости. Я перебрал, а мне еще грести против течения — и просить прощенья, держа стихи в протянутой горсти, в разгар чумы, в предчувствии сумы... Ну и так далее.

Или:

В Америке зима, как, впрочем, и везде.
Взыграет снеговой и океан охрипнет.
Жизнь вяло тянется в привычной борозде —
не крикнет, не вздохнет, не вякнет и не крикнет...

Примерно так мог бы написать Шурик. Но не написал. Зато он написал другое:

Теплом дышало АГВ неровно,
жильцы укутанные спали,
часы тихонько время толковали,
и Ягве в Библии хозяйничал любовно...

Прусак сухарь грыз завалищий,
моль ела старое пальто,
под одеялом в клеточку лото
как мертвый улыбался спящий...

По-моему, прекрасно.

И еще, совсем недавнее:

Спасибо жизни ледяной
за шерстяное одеяло...

Но сегодня почему-то вспомнилось уже совсем забытое, но очень теплое:

Не медли, Шурик, на гешефт
с трудолюбивой встань ноги.
Уже, поди, давно твой шеф
любовно чистит сапоги...

Или:

Здесь, у зеленого бюро,
глядят на восходящий вирш
сутулый Ребе, Шойхет, Гирш,
Шагал, Сутин и мим Барро.

Хорошая компания. Которой на Воровского, как видно, уже не собраться.
Впрочем, кто знает?..



Провинциальное небо. Стихи и сны

...Однажды, очень давно, почти в юности, Гирша прорвало.

Мы гуляли по Новорыбной. Начинались осень и туман. Он стал рассказывать мне о себе. О том, как он жил, что чувствовал — там, на глубине. Хотя делать этого не любил. Но, видно, что-то случилось — и он стал говорить:

— Когда-то я ходил по кривым провинциальным улочкам и вбирал в себя свет, и снег, и ветки на провинциальном небе. И путаницу кустов, которые прочерчивали пешеходные дорожки. Те самые, по которым мы сейчас идем... Я жил вне времени, вне идеологии. В пространстве, открывшемся мне, в вечном, навсегда увиденном мире... Это была удивительная наполненность собой, когда все остальное находилось на обочине меня. Рос, рос, рос чему-то. Переполненность сердца заставляла ходить и ходить. Улицы делались пустынными, небо — огромным и домашним. События на небе, тени на заборах и на земле волновали сильнее, чем другие. Я был в центре этого огромного и одомашненного мной мира. Значительность... Именно это делало мою жизнь гениальной. Понимаешь? Добить



ся внутреннего состояния неподчиненности — едва ли не главная задача в жизни. С возрастом, правда, растет горькое сознание того, что ничего не достиг... Очевидно, сохранение молодости в том, чтобы видеть повсюду раскрывающиеся возможности жизни... Вот так, Фимочка. Как ни грустно... И это притом, что у нас все еще, казалось бы, впереди. У тебя во всяком случае. Да?

— А у тебя?

— Н-ну, не знаю, не знаю... посмотрим.

Гриша умел сомневаться.

А потом, совсем неожиданно для меня, прочел мне удивительное стихотворение.

В прозе. Даже показал мне текст. И дал подержать.

"Зачем мне дни мои, бегущие под солнцем, как воды реки чистой и живой, текущей между домов и деревьев? И я — убегающее грязное животное с тонкой кожей, израненное сором и светом... Только б убежать и не взорваться крупной волной! Безмолвно, незаметно течь, чтоб каждый, кто придет, привык бы к зрелищу: да, это течет, — и мог бы бросить ненужный сор: я унесу, и снова воссияют трава и воды, небо, хрупкое, как бутылка из Моранди, так незаметно уносить чужое горе, стирать белье, которое будет висеть высоко, как облака, на ржавых прутьях... Как кровь моя высоко вознесена, уличная грязь, сброд, звезды вечера и чье-то горе обдают меня своим дыханием, очищают мои легкие зловонием, и на дно моих глаз опрокидывается даль неба и звезды, как содержимое вывернутой кишки, брошенное в грязном парадном под ноги Кирико... Убежать из пространства, где статуи только и могут жить, — нет радости дышать, и нет ни дня, ни ночи..."

Удивительные стихи. По-моему, просто гениальные. Я уже тогда это понял. Но не сказал ему почему-то. Сказал, что здорово, что хорошо, что мне нравится. Но не сказал, что гениальные. А надо было сказать. Может, ему именно это нужно было тогда. Хотя... скорее всего, он сам это о себе знал. Но никому не сказал.

Рисунки автора